

Москва—Петрозаводск

рассказ

Внимай, Иов, слушай меня, молчи.

Иов 33:31

Избавить человека от ближнего — разве не в этом назначение прогресса? И какое дело мне до радостей и бедствий человеческих? — Правильно, никакого. Так почему же, скажите, хотя бы в дороге нельзя побыть одному?

Спросили: кто едет в Петрозаводск? Конференция, с международным участием. Доктора, кто-нибудь должен. Знаем мы эти конференции: пара эмигрантов — все их участие. Малая выпивка, гостиница, лекция, выпивка большая — и домой. После лекции — еще вопросы задают, а за спиной у тебя мужички крепкие, с красными лицами, на часы показывают — пора. Мужички — профессора местные, они теперь все в провинции профессора, как на американском Юге: белый мужчина — полковник или судья.

Итак, кто едет в Петрозаводск? Я и вызвался: Ладожское озеро, то да се. — Не Ладожское, Онежское. — Какая разница? Вы были в Петрозаводске? И я не был.

Вокзал — место страшненькое, принимаю вид заправского путешественника, это защитит. Как бы скучая иду к вагону, чтобы сразу видно было — я к вокзалам привык, грабить меня смысла нет.

Поезд Москва—Петрозаводск: четырнадцать с половиной часов ехать, между прочим. Попутчики — почти всегда источник неприятностей: пиво, вобла, коньячки «Багратион», «Кутузов», откровенность, затем агрессия.

Тронулись, все неплохо, пока один.

— Билетики приготовили.

— Девушка, как бы нам договориться?.. Я, видите ли... Ну, в общем, чтоб я один ехал?

Оглядела меня:

— Зависит, чем будете заниматься.

Да чем я могу заниматься?

— Книжечку почитаю.

— Если книжечку, то пятьсот.

Вдруг — двое. Чуть не опоздали. Два нижних. Сидят, дышат. Эх, чтоб вам! Не задалась поездочка. Досадно. Устраивайтесь, не буду мешать, — я наверх полез, они внизу возьтятся.

Первый — простой, примитивный. Голова, руки, ботинки — все большое, грубое, рот приоткрыт — дебил. Потный дебил. Телефон достал и играет. Треньк-треньк — в ознаменование успехов, если проиграл — б-лл-лум, молнию свободной рукой теребит — тоже шум, носом шмыгает. Но, вроде, трезвый.

Второй, из-под меня, брезгливо:

— Куртку снимите, урод. — Раздражительный. — Не чвякайте.

Тяжело. Колеса стучат. Внизу: треньк-треньк. Какая тут книжечка? Неужели так всю дорогу будет?

Вышел в коридор. В соседнем купе разговаривают:

— Россия относится к странам продолговатым, — произносит приятный молодой мужской голос, — в отличие от, скажем, США или Германии, стран круглого типа. В обеих странах я, заметим, подолгу жил. — Девушка радостно охает. — Россия, — продолжает голос, — похожа на головастика. Ездят по ней только с востока на запад и с запада на восток, исключая тело головастика, относительно густонаселенное, в нем можно перемещаться с севера на юг и с юга на север.

Это — слева от моей двери, а справа — пьют. Курицу рвут, помидоры руками ломают, чокаются мужики, гогочут.

Вернулся к себе. Господи, как медленно идет время, только из Москвы выехали.

Еще полчаса, еще час. Скоро Тверь. Дебил тренькает. Второй ожил.

— Звук выключи.

— То-оль, эта...

Толя, стало быть. Высокий, метр девяносто, наверное, пальцы длинные, белые, с круглыми ногтями. Лицо — ничего особенного. Губы тонкие. Лица словно нет. Не знаю, как объяснить. Что-то мне не понравилось в Толе. Импульсов от него не поступало, вот что. *Anaesthesia dolorosa* — болезненная потеря чувств. Проводишь рукой и не понимаешь — гладкого касаешься или шершавого. Не очень я придираюсь? Трезвый, учтивый, старается не мешать.

— Газеты, газетки берем, свежая пресса.

Мерси. Знаем мы ваши газетки: теннисистка разделась перед журналистами, трагедия в семье телеведущей, у миллиардера украли дочь. Секреты плоского живота. Криминальная хроника. Покойники в цвете. Тьфу. Толя, однако, газетку взял, пошуршал ею снизу. Через некоторое время — дебилу:

— Пошли.

Немного один побыл. Да уж, поездочка.

Перед всеобщим отходом ко сну произошло еще несколько малозначительных событий.

Во-первых, из соседнего купе — оттуда, где пили, — забрел пьяный. В руках он держал фотоаппарат. Пьяный открыл дверь, изготовился фотографировать,

Толя дернулся ему навстречу и тут же отвернулся, спрятал лицо. Ага, гэбэшник. Чекист. Теперь ясно.

Пьяный потянул меня к себе, я как раз собрался зубы чистить. Щелкнуть их надо с друзьями. Щелкнул. Всё? Нет, не всё. Я должен выслушать историю его жизни. Почти падает на меня: водка, пот, курево — на, дыши. Расстояние должно быть между людьми. Как в Америке.

Мама ему в свое время сто рублей подарила на фотоаппарат, а потом — денег не было — забрала. А он с детства любил фотографировать. Вот ведь, а?! Сочувствую. Я пошел.

— Стоять! — он мне стих прочитает, козырный.

— Извини, — говорю, — прихватило. Я вернусь. — Еле вырвался.

— Па-а-а... тундре, па-а железной дороге! — заорал он, раскидывая для объятия руки — всем, кто не сумеет увернуться.

У меня еще не худшие соседи, как выясняется. Подумаешь, гэбэшник. Молчит и не пахнет. И дистанцию держит: тоже, как я, брезгует.

Во-вторых, оказалось, что воспользоваться ближним сортиром не выйдет: кто-то доверху забил унитаз газетами. Намокшие цветные картинки — зачем?

В-третьих, вода для чая оказалась чуть теплой, возможно, некипяченой.

— С-с-совок, — проговорил Толя.

Нет, не гэбэшник.

Общий свет гаснет, попробовать спать. Что их двоих связывает? Ничего хорошего. Не родственники, не сотрудники. Может, гомики? Кто его знает. И какое мне дело? Может, гомики. Среди простых людей это чаще встречается, чем многие думают.

Те же звуки: тук-тук, шмыг-шмыг. Жалость к себе. Я уснул.

Я уснул и спал неожиданно крепко и долго, а когда проснулся, то ждали меня раннее солнце, снег и очень сильный мороз за окном, судя по состоянию елок.

Не глядя на попутчиков, я вышел из купе. Поезд встал. «Снуть», кажется, не разобрал надписи. Во время стоянок пользоваться туалетами... Подождем. Эх, еще пара часов — и вожделенный Петрозаводск, гостиница, теплая вода, обед с вином. На душе у меня было теперь много лучше. Что я, в самом деле, такой нежный!

Соседи мои были полностью укомплектованы: Толя, видно, вообще не ложился. Он сидел у окна, возбужденно крутил головой:

— Что, что такое? Почему стоим?

— «Снуть», кажется, — сказал я. — Станция «Снуть».

— Что? Серый, где мы?

— Полчаса стоянка. «Свирь». — Серый производил теперь куда лучшее впечатление. Никаких детских игр, никакого шмыганья.

Серый ушел, поезд тронулся. Я кое-как умылся, выпил горячего чаю и еще больше повеселел. Хотелось жить: завтракать, балагурить, сплетничать про московскую профессуру, нравиться молоденьким женщинам-докторам. Мы не опаздываем? Прошелся, узнал. Вроде, нет.

Ой, а что случилось с соседом моим? Теперь, один, при свете дня, Толя производил очень жалкое впечатление.

— Анатолий, вам плохо?

— Что? — Он повернулся ко мне.

Боже мой, весь дрожит! Я такое наблюдал много раз: к концу первых суток госпитализации больной начинает дрожать, чертей отгоняет, а то и в окно прыгнет — белая горячка! Вот как просто. Толя-то, оказывается, алкоголик.

— Девушка, — кричу, — девушка! У пассажира белая горячка, понимаете? Алкогольный делирий. Аптечка есть? — Нет никакой аптечки. Правда, совок! Ничего себе — к начальнику поезда! Да где искать его? — Винца ему дайте, я заплачу, он же вам все разнесет!

— Успокойтесь, пассажир, — говорит проводница. — Дружок его где?

— Да он еще в этой, СВИри, СвирИ, не знаю, как правильно, вышел.

— Куда он там вышел? Билет до Петрозаводска! — Раскричалась. — Сортир засрал своими газетами! Всю пачку взял! Туалетной бумаги мало?

При чем тут сортир? Пассажиру плохо. От нее помощь требуется, а не истерика. Он там уже, небось, головой об стены бьется. Все, поздно, прорвало:

— Сейчас разберемся с вашим купе, мужчина! Снимем вообще с поезда! — Убежала куда-то. Черт, страшно к себе заходить. Стою возле двери, жду.

Станция «Пяж Сельга». Милиционер идет. Да, этот разберется. Я, кандидат медицинских наук, не разобрался, а он разберется. У товарища Дзержинского чутье на правду.

— Так, документики приготовили.

На мои он едва взглянул. А с Толей произошла ужасная вещь: он забрался на столик и принялся колотить башмаком в окно. Не с первого раза разбил, но разбил: осколки, холодный ветер, кровь. Случилось все быстро. Милиционер ударил Толю резиновой палкой по ногам, и тот повис, схватившись руками за верхнюю полку. Потом грохнулся на пол. Как его выволакивали, я не видел, проводница меня увела к соседям — к приятному молодому человеку и девушке.

Толю били под нашими окнами не меньше минуты: прибежал какой-то парень в спортивном костюме, странно легко одетый, еще милиционеры. Били черными палками и кулаками. Так лечат у нас белую горячку — не самое, прямо скажем, редкое заболевание. Стоит ли подробно описывать? Есть у них термин — «жесткое задержание». В какой-то момент мне послышался костный хруст, хотя что там услышишь за двойными-то стеклами?

Били и что-то приговаривали, о чем-то даже, видимо, спрашивали. Сбоку откуда-то приволокли Серого, тоже били. Серый сразу упал, спрятал голову, сжался весь, с ним они так не старались. Устали, служители правопорядка.

Мы наблюдали за этим ужасом из окна, потом поезд тронулся.

— Ужас, какой ужас! — девушка плачет, зачем мы позволили ей смотреть? — Как страшно! Не хочу, не хочу жить в этой стране!

— Вот — то, о чем я говорил, — произносит молодой человек. — Но вздыхать на эти темы, охать, *контрпродуктивно*.

Я не сразу понял, что натворил. Так после роковой медицинской ошибки некоторое время отупело смотришь на больного, на экраны приборов, на своих коллег.

— Они отлично подходят друг другу, — продолжал свою речь молодой человек, — избиваемые и бьющие. Вот если бы профессора из Беркли так избивали, то он бы повесился от унижения. А эти встанут, отряхнутся, до свадьбы заживет.

— А вы бы? — спросил я. — Вы бы что сделали?

— Я бы? — он улыбнулся. — Уехал.

Мы все трое, по-моему, не очень соображали, что говорили.

— А отчего не уехать, — вступает девушка, — пока не побили? Нормальные люди не должны тут жить.

Мой новый товарищ опять улыбается:

— Не представляю, как пережил бы это путешествие, когда б не милая моя попутчица. В этом поезде даже нету СВ.

Я огляделся: странно, купе, как мое, а все здесь дышит порядком, благополучием. Молодой человек источает вкусный запах одеколона. Да, тоже на конференцию. Бывший врач, в нынешней *ипостаси* — издатель, журнал издает («как Пушкин»), президент какой-то ассоциации, много чего другого. На столике полбутылки «Наполеона». И девушка, правда, милая.

— Вам надо рюмочку. — И рюмочки у него с собой, из какого-то камня. Оникс, не знаю, яшма. Каменные рюмочки. Да, очень хороший коньяк.

Молодой человек объясняет, отчего до сих пор не уехал: культура.

— Скажем, для моих американских друзей *triple A* — Американская автомобильная ассоциация. А у нас какая ассоциация с тремя «А»? — Выдержал паузу. — Анна Андреевна Ахматова. — Победно оглядел нас и прибавил: — Да и бизнесы. — Так и сказал — *бизнесы*.

Хорошо отогреться под коньячок, когда стал причиной несчастья для двух человек!

— Вы абсолютно правы, — продолжает молодой человек. — Это не наша страна, это — их страна. — Разве я что-нибудь подобное говорил? — Мы с вами этих людей не нанимали себя защищать, заметьте. Действует своего рода негативный отбор. И вот результат: в рамках существующей системы гуманный мент невозможен! Система вытолкнет его. Что остается? Менять систему. Или опять — внутренняя эмиграция. На худой конец, — он трагически развел руками, — *дауншифтинг*.

Я поймал девушкин взгляд. М-да. Дауншифтинг.

В дверь постучали железным: «Через пятнадцать минут прибываем». Надо идти к себе за вещами, сосед мне поможет, спасибо ему.

В разгромленном купе меня ждало важнейшее открытие: я понял, кем были Толя и Серый. Под лавкой рядом с моим чемоданчиком стояли две огромные клетчатые сумки, с какими путешествует только одна категория граждан — челноки. И странная дружба моих попутчиков стала понятна — очень разные люди подались в челноки, — и зверское их избивание — тоже понятно.

— Сведение счетов с конкурентами, — согласился со мной молодой человек. — Ментовской заказ.

— А чего так стараться, если заказ?

— Для души. Я ж говорю, менты — не люди.

Челноки. Моему собеседнику есть что сказать и об этой сфере человеческой деятельности.

— Они, видите ли, выполняют важную общественную функцию, — говорит он своим красивым голосом. — Нам всем, всему обществу, в какой-то момент захотелось одного и того же — дорогих шмоток, часов «Ролекс», не знаю, а тех, кто не может позволить себе швейцарский «Ролекс», — он потрянул левой рукой, — тех челноки вроде ваших этих — как их бишь? — обеспечивают «Ролексом» китайским, каким угодно, но ведь это тоже часы, они время показывают. И выглядят хорошо.

Тяжелые сумки какие! Куда их теперь? Отдать проводнице? Нет, эта сволочь у меня ничего не получит! Молодой человек пожимает плечами, я вытаскиваю сумки в коридор:

— Поможете донести?

— Знаете что? — он думает. — Давайте-ка свой чемодан. Ну как я буду выглядеть с этими жуткими баулами?

Ладно, спасибо. Мне хочется сделать ему приятное, и я говорю:

— У вас такая милая спутница!

— Да бросьте вы! — отвечает. — Ни кожи, ни рожи. Семь с половиной баллов.

Зачем-то я уточняю:

— По десятибалльной шкале?

— Нет, по семи-с-половиной-балльной! — смеется он. — И в голове у нее все совершенно *topsy-turvy*, понимаете? — вверх тормашками.

Я удовлетворен: ничего у него с ней не вышло. Странно, что в подобных обстоятельствах меня это волнует, но слишком обидно было бы провести время настолько по-разному.

Проводница равнодушно выпускает нас на перрон, девушку встречают, мы с ней прощаемся, ждем носильщика, потом, едва поспевая, идем за ним и видим транспарант: «Привет участникам...», конференция действительно намечается серьезная.

Погрузившись в такси, молодой человек произносит:

— Знаете что, бросьте вы этих своих *избиенных*! — И тут же хмыкает пришедшей в его издательскую голову шутке: — Избиенных — ISBN какой-то.

— Но ведь именно я стал причиной их неприятностей! Не то слово — беды!

— А, — машет он рукой, — интеллигентский комплекс вины. По всей стране сейчас менты лупят челноков. Пора бы привыкнуть: жизнь устроена несправедливо. Оставьте вы это в покое.

«Нет, — говорю я себе, — он пошляк. А *это* я так не оставляю».

По заселении в гостиницу я требую телефонный справочник и всюду звоню. МВД, РЖД, УСБ — куча аббревиатур. Как ни странно, легко пробился. «Подъезжайте. Полковник вас примет». И вот уже через час или полтора я мчусь на

такси в одно из их темных, безликих зданий. Клетчатые сумки со мной. Меня ждет полковник.

Черным по золотому — *Шац*, ниже — *Семен Исаакович* — написано на двери полковника, и еще ниже, в скобках — *Шлёма Ицкович*. Никогда не видел такого. Смело.

Хозяин кабинета только что проснулся и еще пребывал в летаргии. Он сидел на пустом диване, без подушки и одеяла, одетый в майку и тренировочные штаны. Одной ногой Семен Исаакович уже полностью влез в ботинок, другой — еще нет. Это был человек лет семидесяти, маленького роста, совершенно лысый, без усов и без бороды, но со множеством волос из ушей и из носа — отовсюду, откуда волосы расти не должны. Руки, плечи и грудь его были покрыты черно-седой шерстью. Я подумал: «В Исава пошел».

Как называть полковника? Имя Шлёма и подходит ему, и нравится больше, но Шлёма, наверное, для своих?

— Полковник Шац, — произносит он, ковыляя к столу, — так и не влез в ботинок.

Ясно, товарищ полковник.

Живот у него большой, руки толстые, как у штангиста. Широкий, мясистый нос в рытвинах, и щеки все в рытвинах. Глаза описать затрудняюсь: я в них почти не смотрел. Полковник доходит до стола, надевает форменный пиджак поверх майки, садится.

Я немножко подготовился: врач, участник международного конгресса.

— Врач, — говорит он. — Бюджетник. — Молчит. — Сядь.

Сажусь на маленький стул напротив. В комнате всего-то и мебели: большой полированный стол, диван, пара стульев. Видно, ремонт недавно делали.

— Аид?

Киваю. Смешно: бюджетник-аид. Как и он. Может, поговорим о деле? Излагаю: попутчики-челноки, негуманное, мягко сказать, отношение, сведение счетов руками его сотрудников. Хотелось бы беспристрастного разбирательства, справедливости. Как минимум вещи должны быть возвращены владельцам.

Полковник то ли кивает, то ли мелко трясет головой.

Телефон. Он снимает трубку, отвечает короткими предложениями, в основном матом. Я мата и вообще грубости не люблю, но здесь это органично.

Стены голые, без чьих бы то ни было изображений. Только на одной стене — карта мира с торчащими из нее флажками. Масштаб притязаний. Систему, по которой воткнуты флажки, понять невозможно.

— Давайте, заканчивайте там, — кладет трубку и обращается уже ко мне. — Парторг у нас был, Василь Дмитрич, хороший человек, каждое утро выпивал бутылку коньяка. В восемь ноль-ноль уже был никакой.

Зачем мне знать про Василия Дмитриевича? Ну-ну.

— ...Так он *тырил* столько, чтобы иметь каждое утро бутылку коньяка. И всё. Ты понял?

Я пока слушаю.

— ...А здесь вон, — кивает на телефон, — у директора государственного учреждения изъято тринадцать миллионов долларов — только наличными. Сотрудники по полгода зарплату не получали. Скажи мне, зачем этому *чудаку* тринадцать миллионов долларов?

Эффектно, да. Но как это относится к несчастным челнокам?

— Челнокам? Можно и так сказать. Читай.

Полковник достает ту самую газету, которую мне уже предлагали — в поезде.

«По подозрению в совершении двойного убийства, — читаю я, — разыскивается уроженец Петрозаводска...» — и фотография Толи, с усами. Здесь он смеется, застолье. Убиты мужчина с подростком, девочкой. Пустили к себе Толю жить.

Очень тупо: мужчина жил вдвоем с дочкой, продал квартиру, чтобы переехать в меньшую, Толя вызвал товарища... Да, понимаю, Серый, Сергей.

— Нет, не Сергей, — говорит полковник. — Серый — от фамилии. Которая в интересах следствия не разглашается.

Я с трудом складываю газету, возвращаю ее полковнику, руки у меня дрожат, и голос дрожит.

— Извините, товарищ полковник, — все-таки произношу я, — но желтая, да и любая пресса — не доказательство. Это, простите, неубедительно.

— А ты что — суд присяжных, чтоб тебя убеждать?

Он сказал это так, что я понял: в газете написана правда.

Полковник достает несколько фотографий:

— Врач, говоришь? Ну, смотри.

Проходили мы судебную медицину, но это было другое. Мне стало нехорошо, и я этого не сумел скрыть.

— На, — налил мне воды. — Попей.

Как именно Толя с Серым их убивали, я рассказывать не буду. Есть вещи, которые вот точно никому знать не надо.

Объясняю полковнику: плохо спал, коньяк без закуски, ну, в общем...

— *Ферштейн*, — отвечает он.

— Зачем эти фотографии?

Для достоверности. Абонентов их здешних разговорить.

Вычислили убийц по телефонным звонкам из квартиры. Номера все фиксируются на АТС, я не знал. Кто-то один или оба звонили в Петрозаводск, и до преступления, и главное — после. Роуминг, сэкономили.

Они не сразу ушли, ночевали в квартире с трупами, это очень на меня подействовало. Когда умирает больной, то хочется — окна настежь и поскорей — из палаты, а эти... Да, ночь провели, может быть, даже две.

— Боже мой, — лепечу я, не соображая от страха, — я ночевал с убийцами! И спокойно спал! Ничего не чувствовал. Боже мой!

На полковника это не производит особого впечатления.

— Не думай о них, — говорит он. — Убийцы — средние люди.

Опять телефон, опять он больше слушает, чем отвечает, у меня снова пауза, и я этой паузе рад. Кладет трубку.

— Что тут? Смотрел? — Про сумки.

Нет, и в голову не пришло. Берет сумки, легко поднимает на стол. Очень сильный.

— Руками не трогай. А то придется пальчики откатать.

Электроника. Игровая приставка — для Серого, конечно. Открывает футляр.

— Это что?

— Флейта.

Девочка играла на флейте? Черт, мне опять дурно.

— Необязательно, все может быть из разных мест.

Шмотки. Даже шмотками не побрезговали! Нет, шмотки — иконы при-крыть.

— Иконы, — произносит полковник. — В Бога веришь? — Не дожидаясь моего ответа, говорит: — Теперь все верят. У нас даже еврейчики ходят с крестами.

Я инстинктивно провожу по шее рукой: не видна ли цепочка? Надеюсь, полковник не обратил внимания. Мне вдруг не хочется его огорчать.

Книги. Не книги — марки.

— Понимаешь в марках?

Нет, откуда? Марки, я знаю, бывают очень дорогие.

Полковник укладывает вещи назад:

— Все это стоит деньги.

— А у этих, убийц, интересно, на шее есть крест?

— Ничего интересного. Говорю тебе — средние люди.

Я встаю и хожу по комнате. Как же так, а? Как же так? Почему я настолько не разбираюсь в людях? Почему не понимаю сути вещей? Снова пью воду, я уже тут немножко обжился.

Полковник убирает сумки.

— Сядь. Ты все правильно сделал. Помог следствию. Пришлось бы в городе брать.

Теперь вижу: просто удачное совпадение. Оказывается, из Москвы тем же поездом ехал оперативник — их арестовывать. Вспоминаю человека в спортивном костюме. Просто удачное совпадение. Могли бы вообще не найти. Раскрываемость же ничтожная.

— Ничтожная? Кто сказал тебе? Какой *чудак*?

Полковник усмехается и ласково произносит:

— Шлемазл.

Такого слова нет в моем лексиконе. Что это значит?

— Шлемазл, — с удовольствием повторяет полковник. — Сосунок.

Вот для чего я явился в Петрозаводск: чтоб меня сосунком обзывали. Горько.

— В Америке, — говорю, — как-то обходятся без того, чтобы бить всех подряд дубинками. Есть процедуры. Я не выгораживаю убийц и так далее...

— В Америке, — отзывается он. — Я вот тебе расскажу.
И полковник рассказал мне историю своего отца.

Шац-старший, обрезанный еврей, в начале войны был призван на фронт, но повоевать ему не пришлось: уже в августе сорок первого вся их армия была окружена и сдалась. Шац обзавелся документами убитого красноармейца-украинца, так что его не расстреляли сразу и попал он не в концлагерь, а сначала в один трудовой лагерь, потом в другой. Оказался в Рурской области, на шахте.

— Знаешь, что такое по-немецки «Schatz»?

Богатство, сокровище, клад. Полковник кивает: отец кое-как говорил по-немецки, до войны все учили немецкий язык. Так вот, попал он на шахту с одним лишь желанием — жить. Хотя, как представишь себе: война неизвестно чем и когда закончится, что с семьей — непонятно. Трудовой лагерь — не лагерь уничтожения, но из тех, кто просидел всю войну, уцелела одна десятая.

Пристроиться переводчиком? Нет, это было исключено. Во-первых, чтоб затеряться, надо быть как все, а во-вторых, нормальные люди в лагере были настроены исключительно по-советски. Только подонки имели дело с немцами больше, чем заставляют. Шац вел себя по-другому: он выполнял не одну норму, а две. За это давали премии — хлеб, табак. Бросил курить. Единственная, можно сказать, радость, а бросил — чтобы еды было больше, чтоб работать, план выполнять. У товарищей табак на еду менял и всегда был сыт. Когда поднимался из шахты первым, воровал у охраны — картошку, яйца, хлеб. Только еду. Били, когда ловили, сильно били, каждый раз — двадцать палок. Немцы, порядок. Вся спина была черной от палок. Били, но не убили.

— Так и не узнали, что отец ваш — еврей?

— Пока шла кампания по выявлению — нет. В бане его прикрывали, для своих он придумал что-то.

— Фимоз.

— Вот-вот. Потом узнали. От наших же и узнали.

Когда открылось, что Шац еврей, жить ему стало существенно тяжелее. Вроде как «полезный еврей» — слово на этот случай у немцев было. Норму уже выполнять приходилось — тройную. И терпел — от немцев и от своих. Но настоящих садистов в лагере было немного. Охранники тоже — обычные люди.

— Средние, — подсказываю я.

— Да, средние, — полковник не замечает иронии.

Садистов немного было, не больше, чем теперь, но одна была — жена коменданта лагеря. Красивая баба, говорил отец. Туфлей любила ударить в пах. Штаны при себе снимать заставляла. Развлекалась, в общем. Доразвлекалась.

Освобождали их американцы. Делали так: окружали лагерь и ждали, пока охрана сдастся и заключенные ее перебьют. Сутки могли ждать, двое. Выдерживали дистанцию. Обычная для американцев практика. Немцы к ним в плен хотели, но зачем им пленные немцы?

— Что он с ней сделал? — спрашиваю.

— *Отымел.* Понял? Первым.

— А потом? Потом что? Убили?

— Ну, наверное, — пожимает плечами полковник. — Немцев всех перебили, вряд ли кто-нибудь спасся.

Мы некоторое время молчим.

— Скажите, как отец ваш потом относился к немцам?

— Нормально. Почему «относился»? Жив отец. Злится только, что пенсию немцы не платят. Он нигде у них по документам не проходил как Шац.

Жив отец его. И что делает? — Ничего он не делает, что ему делать? На рынок любит ходить. Бабу эту немецкую вспоминает. Раньше, пока была мать, молчал, а теперь чаще, чем о собственной жене, говорит.

В кабинете почти темно. Мне вдруг хочется поддержать полковника, хотя бы посмотреть ему в глаза, но он сидит спиной к окну, и глаз его я не вижу. Пробую что-то сказать: про недержание аффекта, про старческую сексуальность. Принадлежность к врачебной профессии как будто дает мне право произносить ничего, в общем, не значащие слова.

— За всю войну, — говорит полковник, — отец мой не убил ни одного человека. И если бы американцы твои освободили его как надо, по-человечески, теперь бы он немецкую бабу эту не вспоминал.

Полковник кончил рассказ и постепенно впадает в летаргию. Наверное, надо идти?

Спрошу напоследок:

— А что флажки у вас на карте обозначают?

Он вдруг широко улыбается, в полумраке видны его зубы:

— Ничего не обозначают. Флажки и флажки. Просто так.

Ну что, я пошел?

— И куда ты пошел без шапки? — спрашивает полковник. — Шапка есть?

— О, даже две: кепка и теплая, шерстяная.

— Надень шерстяную.

Петрозаводск: темень, холод, лед, улицы едва освещены, ничего не разберешь.

Вечером встречаю на конгрессе молодого человека с красивым голосом, того самого, из поезда, он делится впечатлениями от города, говорит: «Такая же жопа, как все остальное», и выражает желание продолжить знакомство в Москве:

— Пообедаем вместе? Чур, приглашаю я. — Между прочим спрашивает меня: — Разузнали про давешних *побиенных*? — Молодец, нашел слово.

— Нет, — отвечаю я. — Нет.

февраль 2010 г.